

И. Л. ВОЛГИН

«Учитель на все времена»

В 1880 году в городе Новочеркасске был издан сборник работ воспитанников местной гимназии (ныне, разумеется, никому неизвестный). В этом прибежище юной мысли нашел достойное местоopus ученика 7 класса Н. Туркина: «Просветительные идеи Белинского (Вид хрестоматии)». Приведя известные строки недавно умершего поэта («Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени») добросовестный гимназист уже от себя добавляет: «И кто же из нас не питает этого глубокого уважения к Белинскому, безмерно-великое и безмерно-благодетельное влияние которого до сих пор ясно чувствуется во всем, что только появляется у нас истинно прекрасного и благородного?»

Вопрос, с жаром заданный учеником провинциальной российской гимназии, носит, конечно, чисто риторический характер. Ибо к 1880 году (канун царевубийства 1 марта) в сознании российских гимназистов, которое, в свою очередь, есть не что иное, как уплотненный слепок общего мнения, крепко засела мысль об эстетической непогрешимости Белинского и его безусловной приверженности делу прогресса. Русская литература, обретавшая к исходу столетия все более осязаемый сакральный статус, была еще и школьным предметом. Это требовало ясного, внятного и желательного однозначного толкования священных текстов. Белинский, как никто, годился на эту роль. Он стал Аристотелем средней школы. С его тягой к выставлению переводных баллов отдельным писателям и мощным дидактическим потенциалом, он стал учителем учителей.

Русская школа утилизировала Белинского, надежно законсервировав его *пламенный* образ и превратив бесчисленные поколения школяров в обязательных потребителей его критической прозы.

Это был счастливый и, главное, не подверженный влиянию времени выбор. Ибо никто никогда не в силах опровергнуть тот постулат, что «поэзия — это мышление в образах» и что «в художественном произведении идея с формой должны быть слиты, как душа с телом». Какой безумец осмелился бы отрицать, что «в искусстве все неверное действительности есть ложь»? Такой набор безусловных, энергически заявленных истин необходим всякому, кто желает быстро и без затей постигнуть нехитрые тайны искусства.

«Пушкин стольких не воспитал, как Белинский, — говорит В. Розанов. — Пушкин был слишком для этого зрел и умен». Белинский стал *школьным* писателем на все времена. Его комментарий к только что испеченной, еще не остывшей от вулканического огня отечественной классике, конечно, есть «вторая реальность» — вторая по отношению к художественному первоисточнику. Но это была *первая* вторая реальность: все позднейшие критические углубления лишь дополняли и корректировали картину. Автор статей о Пушкине в чем-то повторил участь своего героя: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет».

Школа жестко отобрала наиболее важную для себя часть его критического наследия и отбросила за ненадобностью все остальное. Она не стала вдаваться в его многочисленные противоречия и уличать его в вопиющей непоследовательности суждений. Она мудро проигнорировала весь этот *внеклассный* контекст. «Ее» Белинский оказался идеально приспособленным для выполнения сугубо учебной задачи: первого (и чаще всего — последнего) прочтения воспитуемыми свода хрестоматийных текстов.

Он оказался также идеальным учителем жизни.

Гимназист седьмого класса Н. Туркин прилежно выписывает: «...не показывайте им (детям. — *И.В.*) Бога грозного, карающего судию, но учите их смотреть на Него без трепета и страха, как на отца, бесконечно любящего своих детей».

«Видеть и уважать в женщине человека — не только необходимое, но и главное условие возможности любви для порядочного человека нашего времени».

«Сама природа создала женщину преимущественно для любви...»

Этот Белинский (разумеется, без «Письма к Гоголю») так же естествен в лоне старой российской школы, как Белинский с «Письмом» — в лоне школы советской. Во все эпохи он действительно остается властителем дум: преимущественно учеников 7-х, 8-х и 9-х классов.

«С глазами, вперенными в туман...»

Большевики не только признавали Белинского, но и повесили его в чине.

«Он учился у писателей, — сказано в одном учебном пособии 1950 года, — но в гораздо большей степени учил их. И он имел на это моральное право». Такая патерналистская модель вполне устраивала новую власть, ибо подразумевалось, что за отсутствием равнозначного авторитета миссию педагога и опекуна (своего рода «коллективного Белинского») самоотверженно берет на себя государство. Белинского перестали читать: в нем стали выискивать *указания*.

В 1924 году А. Луначарский находчиво заявил, что «перспектива у Белинского довольно правильная, почти марксистская» (хотя тут же, калеча метафору, добавил, что он стоит у истоков реки «с глазами, вперенными в туман»). Белинским начали бить рапповцев и троцкистов, попутчиков и безродных космополитов, Ахматову и Зощенко и т. д. и т. п. Как удивила бы его такая судьба!*

Даже Ленин, неосторожно заметивший, что письмо Белинского к Гоголю было выражением настроений крепостных крестьян, не подозревал о последствиях.

В 1948 году в Пензе вышла книжка «Земля родная», в которой любовно воспроизведены народные предания о прославленном земляке.

...Однажды одна крестьянка жала барскую рожь и, устав, присела на сноп отдохнуть. Натурально, тут же явился барский управитель на коне: он замахнулся на праздную жницу кнутом. «...Но вдруг крик с дороги: “Не сметь! Не сметь!”»

Надо ли объяснять, кто это был? Разумеется, юный Белинский. Вечером того же дня слугам в замочную скважину довелось наблюдать, «как он по комнате ходил со сжатыми кулаками, а на глазах слезы блестели. Походит, походит, сядет за стол, попишет что-то и опять из угла в угол ходит и все вздыхает и грозит кому-то».

Само собой, любознательный юноша аккуратно записывает в тетрадку мужицкие байки про попов. Теперь понятно, из каких глубин будет брошено ввavшему в религиозный экстаз Гоголю: «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку?»

Так народная мифология смыкается с мифологией официальной. Впрочем, и та и другая имеют единый источник. И на сей раз Белинский остается властителем дум: главным образом, служебного толка.

Но это отнюдь не единственная сфера бессмертного существования автора «Литературных мечтаний». В не меньшей степени изумляет его полуторавековая глобальная, чисто метафизическая роль.

«У Белинского, — говорит Н. Бердяев, — было характерно русское искание целостного мирозерцания, которое дает ответы на все вопросы жизни...» Не случайно автор именуется такое миропонимание «тоталитарным». Воплотив в себе родовые черты русской интеллигенции (или, в качестве «духовного отца», наделив ее таковыми),

* При этом, однако, была проделана колоссальная исследовательская работа — по собиранию биографических материалов, публикации текстов и т. д. (см., например, посвященные Белинскому тома «Литературного наследства» и др.). Мало кто из русских литераторов изучен так досконально с фактической стороны.

Белинский сосредоточил в себе проблему, от разрешения которой, как недавно еще казалось, зависели судьбы России.

Два лика «неистового Виссарiona»: один — учебно-прикладной, другой — метафизический, ментальный — сливаются в единый образ, осеняют один исторический миф. И независимо от того, кем был Белинский «на самом деле», важно уяснить, чем был он в драматической истории нашего национального духа.

«...А вы хотите есть!»

Белинский любил играть в преферанс. Копеечная игра, замечает К. Д. Кавелин, «занимала и волновала его до смешного». Он вносил в нее столько отчаяния и страсти, «точно участвовал в великих исторических событиях».

Можно сказать, что всю свою сознательную литературную жизнь Белинский «играет в преферанс», волнуясь и трепеща вне зависимости от предложенных ставок. Его захватывает сам процесс. Он вкладывает в свои оценки такую долю личного кровного интереса, что для читателя не столько даже важна логика его рассуждений, сколько их повелительный тон. Он всегда говорит, как власть имущий. Его искренность порою пугает. Меняя, по его словам, убеждения, «как копейку на рубль», он никак не может обзавестись основным капиталом. От его взора не укрывается ничто. «Белинский, служака исправный, — желчно заметит А. Блок, — торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет Божий».

Россия знала критиков более тонких, более виртуозных и несомненно обладавших большим эстетическим вкусом. Но никто из них не мог обогнать Белинского в одном — и в столь явственном проявлении «страдательного потенциала», и в абсолютной слитности текста со всеми субъективными достоинствами или недостатками произносящего этот текст лица. Белинский как человек совершенно неотделим от своих писаний. Человеческий фактор стал главным козырем «симпатичного неуча» (как именовал его образованнейший, хотя и не всегда «симпатичный» Набоков): широкость натуры с лихвой искупают теоретические ошибки.

Во всей мемуаристике о Белинском мы не встретим ни одного сколько-нибудь негативного отзыва о герое. Правда, воспоминания оставили в основном друзья, недоброжелатели предпочли отмолчаться. Последние не могли упрекнуть его даже в наиболее извинительной из всех национальных привычек. Когда Н. Греч осмелился высказать подозрение, будто Белинский пишет, «не выходя из запоя», ему было ретроспективно замечено, что Белинский-пьяница — такая же немис-

лимая вещь, как Лессинг на канате. (Трезвость — устойчивая черта всех прогрессивных литераторов, вот почему, скажем, Ап. Григорьев не принадлежит к их числу.)

Приятели относятся к Белинскому «с восторженной любовью, подобной той, какую питают к женщине». С другой стороны, и сам Белинский ведет себя с молодыми, подающими надежды литераторами так же. «Он, — говорит И. Гончаров, — как Дон Жуан к своим красавицам — относился к своим идолам. Обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее свое поклонение» (именно так поступил он с Достоевским). Этот страстный элемент заметен у него во всем: во взгляде на литературу, религию, политику, философию, историю.

Одни именуют его «центральной», другие — «гладиаторской» натурой; все без исключения указывают на его неодолимый нравственный магнетизм. «Многие, — замечает Кавелин, — побывавши под сильным его влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению». «...К нему, — добавляет П. В. Анненков, — всегда являлись несколько по-праздничному, в лучших нарядах, и моральным неряхой нельзя было перед ним показаться...»

Последователи не раз будут выкликать строгую тень Белинского себе на подмогу. Даже мертвого его попытаются совокупить *со своими*: сначала замыслив воздвигнуть общий с Добролюбовым памятник на их практически братской могиле, затем — радостно предлагая перенести в *престижную* могилу Тургенева бедный, давно исчезнувший в финских болотах прах. (Только крайнее негодование вдовы уберегло покойника от этих дружественных кощунств.)*

Но в поле зрения Белинского пребывает не только словесность как таковая. Она для него лишь часть (хотя и важнейшая) всего универсума, который также подлежит его неподкупному и пристрастному суду.

Князь В. Ф. Одоевский, один из немногих писателей старшего поколения, признававших талант «недоучившегося студента», именует покойного критика «одной из высших философских организаций», какие он когда-либо встречал в жизни. Современники будут поражаться тому, как почти не владеющий иностранными языками Белинский «со слуха» (т. е. *из разговоров*) станет усваивать высшие достижения гегельянского духа и немедленно прилагать их к вялотекущей рос-

* Достоевский, как всегда, предвосхитил ситуацию. В черновом наброске к предпологавшейся переработке «Двойника» (1861–1862) сказано: «Мечты старшего (Голядкина. — И. В.): мы бы жили, близнецы, в дружбе, общество бы умирительно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом.

— Можно бы даже в одном гробе, — замечает *небрежно* младший.

— Зачем ты заметил это *небрежно*? — придирается старший».

сийской жизни. Не своего ли литературного восприемника держал в уме автор «Братьев Карамазовых», когда писал о гипотетическом русском мальчишке, впервые увидевшем карту звездного неба и на следующий день возвратившем ее исправленной.

«Белинский — основатель мальчишества на Руси, — напишет В. Розанов в “Мимолетном”. — Торжествующего мальчишества, — и который именно придал торжество, силу, победу ему».

Пушкина, который сам начинал «как мальчишка», видимо, настораживала эта черта. «Если бы с независимостью мнений и остроумием своим, — пишет он о Белинском в 1836 году, — соединял бы он больше учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».

Может быть, Белинский и прислушался бы к этим словам, если бы знал, кто скрывается за инициалами А. Б., которыми была подписана пушкинская статья.

«Игровому», «несерьезному» Розанову, напротив, импонирует отсутствие у Белинского «зрелости»: «Так и прыгает, скачет. Хохочет. Свистит». «С мальчишкой весело», и на 50–70–80 лет после Белинского в русской литературе установилось «весело».

Но порой Белинский очень серьезен. В своих титанических усилиях «мысль разрешить» он вообще напоминает героев Достоевского. Однажды с горьким упреком он сказал И. С. Тургеневу: «Мы не решили еще вопрос о существовании Бога, а вы хотите есть!» — фразу, которая вполне могла быть произнесена еще одним «русским мальчишкой» — Иваном Карамазовым.

«Все, что не носило на себе печати мысли, не имело интеллектуального характера и выражения, — говорит Анненков, — вселяло ему ужас». Мемуарист имеет в виду не только принципиальную отстраненность своего героя от низкой, бездуховной (или кажущейся ему таковой) жизни, но также исключительную теоретичность его мышления, не готового, по мнению Анненкова, воплотить свои крайние выводы в радикальные исторические поступки (иначе говоря, его неготовность стать Смердяковым, в отличие от брата Ивана, отнюдь не уstraшенного выводами из теории). Он все-таки не звал Русь «к топору», а требовал хотя бы исполнения законов уже существующих. Но тот же Достоевский, вспоминая чахоточного Белинского, сквозь слезы «гражданского счастья» (как выразился Набоков) наблюдавшего за строительством вокзала Николаевской железной дороги (той самой, что вызовет вскоре у Некрасова прямо противоположные чувства), аттестует его как самого нетерпеливого человека в России. Все эти черты — сопряжение «мирового» и «си-

юминутного», поиски Бога и сокрушительное богохульство, заботы о немедленном благе и сугубая теоретичность, не желающая знать, во что обходится материализация идеалов, — все это войдет в плоть и кровь российской интеллигенции, в круг ее домашних привычек и семейных свар. Как и у Белинского, все ее духовные порывы будут вдохновляться чистейшим бескорыстием, жертвенной жаждой самозаклания и хроническим поиском идеала.

Унаследованный от Белинского духовный энтузиазм способен принимать самые причудливые обличья.

Монах или Робеспьер?

Современники говорят о «неистовом Виссарионе» как о человеке, пребывающем в перманентном нравственном возбуждении, которое «сделалось, наконец, нормальным состоянием его духа». Эта сугубо индивидуальная черта (свойство «человека экстремы») также отложилась в генетической памяти нации. В России человек, претендующий на место властителя дум, не может быть «спокоен» по определению. Ибо только он в России и есть соль земли. «Круг Белинского», как он исторически сложился (то есть круг либеральных, а позже — радикальных идеалистов), аккумулирует в себе умственные потенции эпохи и стремится монополизировать все интеллектуальное поле. «Впрочем, этих людей только и есть в России, — восклицал допущенный “к нашим” молодой Достоевский, — они одни, но у них одних истина... о, к ним, с ними!» Действительно: к кому бы еще мог он пойти?

Белинский, литературный законодатель, самодержавно царит в этом кружке. Он не может ограничиться условными рамками журнальных статей и обрушивает на головы своих корреспондентов эпистолярные диссертации объемом с брошюру средней величины. Он занимательнее в своих письмах, нежели в «официальных» отписках, коими по необходимости являлись иные его статьи. Очевидцы утверждают, что еще интереснее были его разговоры. (Этот вечный самоанализ и потребность самоидентификации в координатах враждебного мира благополучно перейдут на ночные кухни страны шестидесятых годов нынешнего века.) Немудрено, что в жертву приносилось здоровье: глухое покашливание сопровождает отныне все российские споры. Белая ночь лишь подчеркивает безытийность общей картины и известную призрачность действующих лиц. «Физическая беспомощность, неприспособленность к миру, — говорит Д. Мережковский, — таково свойство первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции». «Он страдал *неполноприродностью*, он был *неполноприродный человек*», — добавляет В. Розанов.

«Белинский вел жизнь чуть ли не монашескую», — утверждает Тургенев. Справедливо указывалось на религиозную природу его служения. С одной стороны, Белинский — наследник русского раскола, аскет, стремящийся из мира в секту, в братство посвященных, в монашеский орден, коим по сути дела и стала русская интеллигенция, взыскующая целостного, «на все случаи жизни», мировоззрения и непременно впадающая на этом пути в смертный соблазн тоталитаризма. С другой — он потенциальный устроитель всеобщего рая, ибо, как сказано, русский скиталец «дешевле не примирится». Это сочетание жесткой личной аскезы и сладких эвдемонических грез создало тот странный человеческий тип, который не имеет аналогов в практике мировой интеллектуальной жизни.

Герцен сравнивал Белинского с Робеспьером: «Человек для них — ничего, убеждение — все». В своем знаменитом громокипящем послании (как утверждает И. Аксаков, не было ни одного учителя гимназии, который бы не знал его наизусть: автор письма мог рассчитывать на свою публику) Белинский не щадит Гоголя именно потому, что тот, как ему кажется, переменял убеждения. («Измена» Гоголя вообще воспринимается как женская измена.) Автору не приходит на ум, что его оппонент пережил отнюдь не идейную, а всего лишь душевную драму: вопль, неуклюже исторгнутый из одинокой груди, заклеянной как «артистически рассчитанная подлость» (при этом напрочь забыто собственное идейное бескорыстие времен «примирения с действительностью»)*.

Но бесчисленных читателей «Письма» меньше всего занимала подописка этого спора. Слова, в праведном гневе брошенные *умирающим* «Робеспьером» («истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Белинский», — скажет Блок), — эти слова сами по себе были грандиозны и неотразимо горьки: «вся мыслящая Россия» отозвалась на них подземным сочувственным гулом. С этого момента Белинский действительно становится мучеником и пророком. За публичное чтение его эпистолярных чтецов приговаривают к смертной казни: литературная критика не знала более высокой оценки. Семилетнее, вплоть до кончины императора Николая, упоминание имени Белинского

* Чаадаев писал Вяземскому, что все сказанное публично о книге Гоголя (т. е. даже исключая «Письмо») «исполнено какой-то странной злобой против автора. Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени, ему вздумалось раз поговорить с нами не на шутку». Сам же Вяземский замечает, что письмо Белинского к Гоголю «невежливо до грубости и в этом отношении дает мерило образованности и благовоспитания того, кто писал его». Он, однако, упускает из виду, что сверхзадача письма как раз и предполагает подобный «сверхлитературный» эффект.

только усиливает тайное мерцание нимба над его головой. Когда в 1859 году начинает выходить первое собрание его сочинений, это воспринимается не столько как литературное событие, сколько как знак перемен. Счастливо поименовавший «Онегина» энциклопедией русской жизни, он сам становится энциклопедическим словарем — в подготовительных классах отечественного либерализма.

Посмертная судьба Белинского с блеском подтвердила его собственные (сказанные в «Письме к Гоголю») слова: «У нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже при бедности таланта». Последняя характеристика явно не относится к автору «Письма». Хотя, по выражению князя Вяземского, он есть сочинитель «ужасно-длинно-многопустословных статей». Но современники только посмеиваются над старческим брюзжанием князя. Тем более что из вскоре явившихся *воспоминаний друзей* (Герцена, Тургенева, И. Панаева, Анненкова и др.) вырисовывается образ, чище и самоотверженней которого не ведала русская словесность. Здесь, правда, был момент скрытой полемики: превознося лучшего из критиков 40-х годов, дать понять критикам 60-х, что они во всех отношениях уступают учителю.

Наследники между тем спешат застолбить наследство. В литературных кружках, угрожающе замечает Добролюбов, «едва ли найдется пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его (Белинского. — *И. В.*) имя». Кто захотел бы оказаться в их числе? Н. К. Михайловский горько сетует на то, что «со времен Белинского русская беллетристика осталась без критического руководства». Стоит лишь удивляться, как не вымерли оставшиеся без присмотра бедные художники слова.

«...Ругал Христа по-матерну»

9 августа 1871 года Н. Н. Ге представляет отчет в Академию художеств: «Вылепил бюст В. Г. Белинского с посмертной маски, руководствуясь указаниями знавших покойного; 3 экземпляра отлито из бронзы для гг. Н. А. Некрасова, М. П. Сырейщикова и К. Т. Солдатенкова (первый издатели сочинений Белинского. — *И. В.*)».

Образ Белинского тоже лепится под строгим приглядом господ, знавших покойного; он становится эталоном, бронзовеет, тиражируется, помещается в красный угол. Часто поносимый при жизни журнальный боец в своем посмертном существовании превращается в фигуру неприкосновенную. Публичный спор с ним отныне немислим (не ведающий пощады Писарев лишь снисходительно пожурит

предшественника за его преувеличенные понятия о Пушкине). Может быть, именно этим объясняется та площадная ругань, какую позволил себе Достоевский — в частной, не предназначенной для посторонних глаз переписке.

Интересно было бы прочесть рукопись «Знакомство мое с Белинским»: сочиненная в 1867 году за границей и отосланная в Россию, она бесследно исчезла (это самый значительный по объему из не дошедших до нас текстов автора «Преступления и наказания»). Не оттуда ли взяты повторенные позже в «Дневнике писателя» слова: «...о, к ним! с ними!»? В письмах же рубежа 1860–1870-х годов, проклиная давно изжитую им закваску «шелудивого русского либерализма», Достоевский как бы мстит себе тогдашнему. Разумеется, он не может простить Белинскому слова о Христе, которого критик, если верить его глубоко потрясенному слушателю, «ругал по-матерну». Но разве пристойнее выглядит сам воспоминатель, аттестующий своего какникак «крестного отца» — «навозной букашкой» и «г<овню>ком».

«Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо, — пишет Достоевский Страхову, — это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение — в неизбежности этого явления».

Достоевский, как и тот, о ком он так яростно судит, тоже «человек экстремы». И в данном случае он тоже иконоборец и еретик. Кроме того, его безмерно раздражают самонадеянные эпигоны, присвоившие наследство, — те, о которых Герцен как-то заметил, что они из *нигилизма* бьют своих матерей. Он как бы предвосхищает умозаключение авторов «Вех», что история русской публицистики после Белинского «в смысле жизненного раздражения — сплошной кошмар». Обвиняя интеллигенцию в беспочвенности, искажении народной правды и корпоративном эгоизме, автор «Бесов» не может не распространить свои антипатии на того, кто, по его мнению, «стоял у истоков нынешних заблуждений»*. Но признавая неизбежность Белинского, он как бы признает органичность процесса.

В «Братьях Карамазовых» Коля Красоткин с важностью заявляет, что в нынешний век Христос «примкнул бы к революционерам», и на вопрос Алеши («с каким это дураком вы связались?») значительно отвечает:

— Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.

* Позже, в записной тетради 1876–1877 годов, имея, очевидно, в виду тех же последователей, он выскажется совсем иначе: «...самые заблуждения Белинского, если только у него есть они, выше вашей правды и всего, что вы наговорили и написали».

— Белинский? Он этого нигде не написал, — возражает Алеша*.

Отсюда следует, что «русский инок» Алеша Карамазов внимательно читал «прогрессивного критика», и, как справедливо замечает один исследователь, «нигде в романе мы не находим указаний, чтобы это чтение помешало Алеше сделаться той прекрасной личностью, какой изобразил его Достоевский». Да и сам автор «Карамазовых» за несколько недель до смерти на вопрос, какого рода литературу можно рекомендовать молодому человеку для полезного чтения, советует ему «лишь то, что производит прекрасное впечатление и родит высокие мысли». В предлагаемом списке наряду с Библией значится и Белинский: тот, кто только что был жестоко оспорен в Пушкинской речи.

Итак, даже у наисправедливейшего из оппонентов Белинского не вызывает сомнений, что знакомство с ним родит высокие мысли. Иными словами, признается моральный характер его деятельности, его бесспорные педагогические заслуги. Следовательно, «опасность Белинского» заключается в другом: в той *ментальной* угрозе, которую заключают в себе благие порывы, не поддержанные «самоодолением», или, если угодно, внутренним опытом христианства. Достоевский одним из первых догадался о том, что головная гуманистическая безрелигиозная (хотя бы и с признаками страстной веры) альтернатива «богочеловеческому» разрешению мировых судеб становится для ее сторонников той самой *вымощенной* дорогой, которая приводит известно куда. Достоевский впервые исследует механизм возникновения зла из, казалось бы, не вызывающего подозрений добра. Степан Трофимович Верховенский (в котором «собираательно» присутствует и Белинский) недаром родил сына Петрушу. Иван Карамазов излагает брату Алеше парадоксы, заданные «неистовым Виссарионом»: вот пролог к богоборчеству и богоискательству XX века.

«Зачем он государство отрицал?»

Однажды в Лондоне (дело было в 1875 г.) 22-летний Владимир Соловьев пригласил приятелей отпраздновать свои именины. В испанском ресторанчике на Оксфорд-стрит, по обычаю русских интеллигентных застолий, речь зашла о Белинском. Уже сильно выпивший Вл. Соловьев неожиданно воскликнул: «Что такое Белинский? Что он сделал? Я уже теперь сделал гораздо больше, чем он, и надеюсь

* Подробнее об источниках этого романного эпизода, а также о духовном взаимодействии Достоевского и Белинского см.: Волгин И.Л. Родиться в России (Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга первая). М., 1991, глава IV «Белая ночь».

в течение жизни уйти далеко от него и быть гораздо выше...» На невинное замечание сотрапезника, что стыдно так говорить о себе и лучше подождать, когда другие признают твои заслуги, Вл. Соловьев вдруг «разразился рыданиями и слезы потекли у него обильно из глаз».

Казалось бы: что ему Гекуба? Сфера интересов, в которой обретается Вл. Соловьев, на первый взгляд, довольно отдалена от той, где мог ощущать себя полновластным господином Белинский. Но будущий автор «Оправдания добра» ревнует именно к такому сопернику: он понимает, *кто* есть настоящая мера.

Можно, пожалуй, сказать, что Белинский мил не только девятиклассникам: он еще и властитель дум властителей дум.

В 1898 году, на исходе жизни, Соловьев поставит себе в вину, что, увлеченный вопросом о соединении церквей, он «упускал из виду более насущные интересы современности, которым служил Белинский». Сам в известном смысле сделавшись властителем дум, он ощущает неполноту этой власти.

У В. Розанова сказано: «И вот *завыл волком*» (Белинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого *ни о чем у себя* не мог бы сказать Соловьев. Не то, конечно, чтобы Соловьев был «тепл», а Белинский — «горяч»; нет, речь идет о мере «неистовства», о несходстве общественных темпераментов. И, может быть, — «темпераментов религиозных».

«Подлей тот, кто не верит бессмертию души!» — страстно внушал Константину Аксакову впечатлительный Виссарион. А на другой день с не меньшей горячностью заявлял: «Тот мерзавец и проч., кто верит в бессмертие». Разумеется, эти максимы изрекались не для того, чтобы скорее приступить к обеду (вспомним: «...а вы хотите есть!»). Говорящий был искренен, как всегда.

«На примере Белинского мы видим, — говорит Д. Мережковский, — в каком противоречии находится явное безбожие интеллигентского сознания с тайной религиозностью интеллигентской совести». Суждение, схожее с мыслью Достоевского, что полный атеист ближе к истинной вере, нежели человек в религиозном отношении индифферентный.

Русскую интеллигенцию мучит «теургическое беспокойство», иначе говоря, проблема ответственности за историю (В. Зеньковский). Но русские богоискатели отворачиваются от церкви и взывают духовного обновления либо «уходя из Ясной Поляны», либо в лоне религиозно-философских кружков.

7 июня 1937 года М. Пришвин записал в дневнике: «Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти, но когда зачуял смертное одиночество жизни, то все признал — и Христа,

и церковь, выговаривая себе только право до конца жизни — право на шалость пера».

Это написано в Сергиевом Посаде (в Загорске), где жил Пришвин и где в 1919 году умер Розанов. Последний много думал и много рассуждал о Белинском: при этом, конечно, он позволял себе «шалость пера».

Толкуя в «Опавших листьях» о задачах государства, о вечной нерасположенности русской интеллигенции к правительству, Розанов вопрошает: «...какую роль во всем этом играли “Письма Белинского”, “Michel” (Бакунин), Герцен с его “Nathalie”, Чернышевский, писавший с прописной буквы “Ты” своей супруге, а вся эта чехарда, и вся эта поистине житейская пошлость... не выступающая из рамок, — “как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”». Для Розанова «история русской литературы» или, скажем, «выработка мировоззрения» не есть реальная историческая заслуга, а некий фантом, иллюзия, интеллигентская блажь. «Этот батальон отлично стреляет — вот дело, вот гиря на мировых весах, перед которой “Письма Белинского к Гоголю” не важнее “писем к тетеньке его Шпоньки” (у Гоголя)».

Это — художественное (именно так!) осквернение (или, если угодно, «отстранение») всех интеллигентских святынь; предощущение того грядущего ужаса, к которому стремительно влечется Россия. В своем «антиобщественном» бунте Розанов исходит из того, что с «письмами Белинского» и Балканы остались бы за турками, и «Сербия осталась бы деревенькой у ног Австрии», и т. д. Поэтому «ОДИН Аракчеев» есть более творческая и либеральная личность, «чем все ничтожества из 20-ти томов “Былого” (журнала по истории освободительного движения. — *И. В.*)»*. «Мужское», деятельное государственное начало противопоставлено «женскому» празднословию оппозиции.

«Сколько глупостей наговорил Розанов в своих “Опавших листьях”, — записывает М. Пришвин, — и ничего: книга остается гениальной, а о глупостях не вспоминаешь».

Между тем суждения Розанова о Белинском — это знак некоего умственного поворота.

* Любопытно сопоставить розановский тезис 1913 года «нужно признать правительство» со словами из чернового варианта пушкинского письма к Чаадаеву (1836): «Надо было прибавить (не в качестве уступки, а как правду), что правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже». Поразительно, что Пушкин не причисляет к «европейцам» даже собственный круг, который, по его мнению, лишь следствие цивилизации, созижденной Петром.

Вопрос становился все актуальнее: была ли права русская интеллигенция, на протяжении века брезгливо сторонившаяся «не интеллигентной» власти? Не оказались ли напрасными ее бесчисленные жертвы, или прав Карамзин, заметивший (по свидетельству Пушкина), что «честному человеку не следует подвергать себя виселице»?

Когда наконец победил горячо призываемый Белинским «прогресс» (а победители пытались доказать, что он призывал его именно в этом виде), часть интеллигенции (в первую очередь эмигрантской) вынуждена была взглянуть на результаты своей деятельности изумленными и горестными очами.

На скучных берегах, у Вавилонских рек,
Взирая на прохладные течения,
Стоял интеллигентный человек
И вспоминал былые прегрешенья.
Зачем он государство отрицал,
В божественности власти сомневался?
Зачем на потрясение начал,
Безумием охвачен, покушался?

Так в 1935 году писал Дон-Аминадо. Его герой, выброшенный из России за ненадобностью интеллигент, готов теперь растоптать прежних кумиров. Он кается «не просто, а по списку»:

Почто горел на жертвенном огне?
Грозил, орал, и требовал, и рычал,
И кнопками на собственной стене
Марусю Спиридонову истыкал?
Испытывая сладостную грусть,
И тошноту, и даже дрожь в коленке,
Зачем учил он Маркса наизусть
И слепо поклонялся Короленке?

Белинский не назван в этом почтенном ряду, хотя, собственно, должен бы открывать его. Известная формула «сын за отца не ответчик» не действует в нисходящем смысле. Правда, далеко не все дети готовы признать отцовство.

...В 1901 году 19-летний Чуковский заносит в дневник: «Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей И. Иванова, Евг. Соловьева-Андреевича и проч. нынешних говорунов, которых я имею терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтено 10, 15 стр., тр., тр., тр... говорит, говорит,

говорит, кругло, цветисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет».

Признание будущего критика (и — что в данном случае важно — автора «Мухи-цокотухи») очень симптоматично. Свободное от каких-либо «идейных» мотивов (просто: «неинтересно»), оно свидетельствовало о том, что период первоначального интеллектуального накопления завершился. Общество выходило из приготовительных классов.

Изменилась акустика века (впрочем, сменил нумерацию и сам век). Читатель стал догадываться о том, что Гоголь не только «обличал» (за что его, по словам Достоевского, особенно уважал глава «натуральной школы»). Что же касается входящего в силу нового искусства, ему наставнические заботы Белинского были просто скучны. Поэты «серебряного века» с легким недоумением, а чаще «никак» взирают на эстетические споры прежней поры. Это явно не их проблема. Они иронически рифмуют «Белинский» и «Степняк-Кравчинский»: оба не интересны им по определению.

«Приближались роковые сороковые годы, — скажет в 1921 году А. Блок, мистически переключаясь с еще не рожденной строкой (“сороковые, роковые...”), — над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского».

Для Блока 40-е годы XIX столетия — исходная точка близкой уже гибели культуры. «Грядущие гунны» грядут именно оттуда. В отличие от брюсовских они представляются Блоку классом «фармацевтов», чуждых духу поэзии.

Если Вяч. Иванов в поэме «Младенчество» еще может сказать о своей матери (обручив рифмой враждующие стихи):

...Марлинский
Забыв: но перечтен Белинский... —

то сам автор не хочет знать ни того, ни другого. Белинский не влияет на литературный процесс, хотя, казалось бы, остается его почетным участником. В 1898 году, в дни юбилейных торжеств (50 лет со дня смерти), М. Волошин еще успеет увидеть, как «через узенькую дверь почтительно под руки вводят маленькую, совсем дряхлую и совсем белую старушку в черном платье». Это — А. В. Орлова, свояченица Белинского: так бы могли ввести его самого.

Из других современников здравствует еще Лев Толстой. Но, во-первых, будучи на семнадцать лет младше, он не знал Белинского лично. А во-вторых — и это, пожалуй, самое поразительное, — он единственный из писателей старшего поколения, кто питает в отношении властителя дум полное и совершенное равнодушие.

«Ну какие мысли у Белинского! — скажет Толстой в 1903 году сотруднику “Южного телеграфа”. — Сколько я ни брался, всегда скучал, так до сих пор и не прочел». Яснополянский патриарх сходится здесь с юным К. Чуковским, — правда, отчасти по разным причинам.

Автор «проповеди» не занимает автора «Исповеди» потому, что он далек от сферы его собственных интересов. «Какая это удивительная вещь! — скажет Толстой П. Х. Бирюкову в 1904 году. — Белинский был человек, лишенный религиозного чувства. И мне такие люди чужды...» Толстой, судя по всему, не знаком с перепиской обсуждаемого лица. Но замечательно само толстовское удивление! Как будто писатель поражен тем, что в такой страстной натуре не живет страстная вера...

Бой с силуэтом

В 1896 году Аким Волынский скажет, что русская критика мертва. Он посетует на исчезновение того огня, «который горел в статьях Белинского», и согласится со словами К. Кавелина, что позднейшая журналистика только «стереотипировала вальпургиеву ночь, шабаш ведьм, происходивший в наших головах» (вспомним сказанное через тринадцать лет «Вехами»: «сплошной кошмар»).

Но и по отношению к самому основоположнику А. Волынскому удастся избежать привычных ритуальных движений. В своей книге «Русские критики» спокойно и трезво (может быть, впервые так спокойно и трезво за последние сорок лет) говорит он о теоретической невнятице Белинского, и об отсутствии у него научного метода. Эта академически-сдержанная оценка не вызывает особого шума. Не порождает больших волнений и статья Б. Садовского в новомодных «Весах» (1907): непочтительность автора к тому, кто «после Достоевского и Ницше» уже не кажется непогрешимым, воспринимается как декадентская резвость.

Скандал разразился в 1913 году. Переиздавая трехтысячным тиражом «Силуэты русских писателей», критик Юлий Айхенвальд неожиданно добавил в них краткий очерк о Белинском.

«Белинскому недорого стоили слова, — начинает Ю. Айхенвальд, — никто из наших писателей не сказал так много праздных слов, как именно он... Его неправда компрометирует его правду. Белинский надежен. У него — шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса. Одна страница его книги не отвечает за другую... У него не мирозерцание, а мирозерцания. Именно поэтому он всегда — временный, и каждой мысли, каждой дамы он — рыцарь на час».

«Несчастливая восприимчивость», — сказал о Белинском (еще при его жизни) Юрий Самарин.

Собственно, надо лишь удивляться, что подобные обвинения не были сгруппированы и изложены значительно раньше. Потребовалась известная интеллектуальная смелость, чтобы на следующий год после столетнего юбилея Белинского (встреченного привычной риторикой, мало чем отличающейся от памятных нам домашних восторгов, очевидно, уже поседевшего новочеркасского гимназиста) обнародовать подобный текст.

Статья Ю. Айхенвальда написана с писаревской безапелляционностью, но ее пафос прямо противоположен писаревскому. Автор утверждает, что по отношению к искусству эволюция Белинского означала регресс (от идеализма к вульгарному утилитаризму); он говорит, что если вычесть у Белинского чужое, «останется живой темперамент, беспредметное кипение, умственная пена». Его убеждения — это луковича без сердцевины: «одни слои, оболочки, листки, одни наслаения, влияния, воздействия — но где же... он сам?» Белинский принципиально-поверхностен, он мог писать о чем угодно («хотя бы даже о бумаге»); он совершенно не понял истинной глубины Пушкина, не смог оценить ни его сказок, ни его прозы; презрел то, «без чего Лермонтов не Лермонтов»; в любой период своей интеллектуальной жизни он «мог мыслить только одну мысль, какую-нибудь одну». Белинского нельзя цитировать, потому что каждую его цитату можно опровергнуть другой. Он столько раз и по стольким поводам загорался», что в конце концов на его огонь смотришь холодно. Пускай Белинский «великое сердце»: «мы предпочли бы великий ум», — заключает неумолимый зоил.

Ю. Айхенвальд отнюдь не был журнальным бойцом. Писатель Борис Зайцев свидетельствует о нем как о человеке замкнутом и одиноком (хотя он и читал свои лекции «в воздухе девической влюбленности»). Вряд ли он предполагал, что его статья вызовет столь оглушительный эффект.

«Мы с женой, — вспоминает Б. Зайцев, — присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в Клубе Педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями. Он сидел молча, несколько бледный. “Как-то Юлий Исаевич ответит?” — спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, прекрасно владея волнением, внутренне его накалявшим, в упор расстрелял всех, одного за другим».

Атакующие цепи гимназических учителей — иной и не могла быть реакция школы на речи безумца, дерзнувшего усомниться в идейной невинности Главного Педагога. Но не менее бурно реагировали *прогрессивные* публицисты, а также — академические круги.

«В Москве произошло печальное для русской литературы событие, — писал Р. Иванов-Разумник. — Юлий Айхенвальд уничтожил

без остатка Виссариона Белинского... Сдается мне, что похоронить придется не Белинского, а статью Ю. Айхенвальда».

Похороны, однако, получились довольно пышные и привлекли многих. В их числе были Б. Эйхенбаум («считать Айхенвальда критиком вообще невозможно»), П. Сакулин («давно уже Белинский находится за чертой досягаемости»), Н. Бродский, Е. Ляцкий... «Джентльмен-рыцарь», «аристократ духа» Ю. Айхенвальд ответил всем подробно, вдумчиво и корректно (если и «расстрелял» оппонентов, то сделал это в очень достойной манере) — в стостраничной брошюре «Спор о Белинском».

Можно ли побороть миф? Тем более — рациональным путем, строго указуя на слабости и ошибки мифологических персонажей? Их любят не за правильность их суждений, а за то, что они — есть.

«Он (Белинский. — *И.В.*), — говорит драматург Е. Шварц, повествуя в дневнике о днях своей юности, — жил в моей душе не только тем, что написал, а тем, что рассказывалось о его жизни. Словом, к моему отношению к Белинскому, так же как и ко мне лично, споры Сакулина с Айхенвальдом отношения не имели».

«...Гнусный пасквиль Вольтынского», «не менее отвратительная статья Айхенвальда», — скажут советские критики, впрочем, стараясь обойтись без цитат.

Но остался все-таки один оппонент, не чета всем остальным, которому Айхенвальд ответить не смог. Ибо он не читал оставшееся в столе «Мимолетное».

«Иностранец с книгою в руках...»

«...“Русский критик” Айхенвальд», — пишет В. Розанов в 1915 году, ироническими кавычками намекая на явную несовместимость этих понятий. Соединяя по известному признаку Айхенвальда и Гершензона, автор находит, что «несчастье их обоих — ум и хороший слог» (то есть то, в чем трудно отказать самому Розанову, вообще в его инвективах сквозит некоторая стилистическая ревность). Айхенвальд — это «сладенький жидок», который не напал на Белинского горячо — как критик на критика, а холодно и размеренно отвесил ему убийственные пощечины. «Посему, — мрачно подытоживает Розанов, — вы можете заключить, русские, как с вами будут расправляться “вообще” евреи, когда придет их власть».

Странное дело. Позволявший себе по отношению к Белинскому полную свободу суждений (порою в высшей степени обидных), автор «Мимолетного» напрочь отказывает в этом праве критику-инородцу. Он как бы воспроизводит грозный рык самого Белинского: «Полевой —

да не прикаснется к нему никто, кроме меня!» Белинский — плох он или хорош — для Розанова *национальное* достояние.

Белинский враг или друг в зависимости от того, насколько это в данный момент необходимо Василию Васильевичу.

Здесь, как всегда, сказался талант и неотделимый от него безразмерный розановский релятивизм, — чем-то, хотя и в совершенно иной огласовке, напоминающий неисчислимые «протеистические» метаморфозы Белинского. Конечно, в «Мимолетном», как всегда, наличествует элемент литературной игры: Айхенвальду, однако, не стало бы от этого веселее...

Он, который « всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто » (вот, наконец, черта, унаследованная им от развенчанного героя), он, убежденнейший противник большевизма, будет выслан из страны в 1922-м — на « философском пароходе », чтобы в 1928-м нелепо погибнуть в Берлине. « Бессмысленный трамвай раздробил ему череп », — скажет Б. Зайцев. Его — в стихах — оплатит В. Набоков*.

Перешел ты в новое жилище. И другому отдадут на днях Комнату, где жил писатель нищий, Иностранец с книгою в руках.

Нищая смерть Белинского, нищая смерть Розанова, нищая смерть Айхенвальда... Почти ни в чем не схожие друг с другом, они уравнены финалом, довольно обычным для русских критиков. Но и сама русская критика — как жанр — тоже умирала « в могучей нищете ».

Книжка « Спор о Белинском » вышла в 1914 году, когда читателям было уже не до предмета спора. Да и с самого начала дискуссия носила несколько искусственный характер. Важен был не столько Белинский, сколько « верность заветам ». Айхенвальдовская « пощечина общественному вкусу » только подняла музейную пыль в отличие, скажем, от настоящей « Пощечины », раздавшей практически одновременно. (Сбрасывание Пушкина и Белинского с парохода современности преследовало при этом существенно разные цели.) Грязнула европейская катастрофа, которая для Россия затянулась на много десятилетий. Белинский стал официальной принадлежностью новой культуры, которая за неимением *известных родителей* торопливо наделяла

* Ю. Айхенвальд одним из первых высоко оценит прозу В. Набокова. Кстати, в « Даре » есть прямое указание на айхенвальдовский « силуэт » Белинского. « Но если ему, — говорит один из героев романа о Годунове-Чердынцеве (замислившим, как помним, книгу о Чернышевском), — скажем просто, хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, ему не надо стараться: Волынский и Айхенвальд давно это сделали » В « Других берегах » сказано: « Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких... » « Айхенвальд умер, для кого теперь писать... » — сокрушится И. Бунин.

его признаками отцовства. Это было второй и последней смертью «неистового Виссарiona».

Постсоветская общественность, по-прежнему жаждущая «целостного миросозерцания», в срочном порядке ищет новых местоблюстителей.

Подайте мне Аксакова сюда!
Киреевского с братом! Хомякова!
И в чаянии страшного суда,
Леонтьева! Федотова! Лескова!

Ныне спор о Белинском бесперспективен. Литература перестала быть «центром вселенной», и все связанное с ней отодвигается на задворки. И если русская интеллигенция — в ее «классическом» варианте — прекращает свое бытие, значит, должен прекратить свое бытие и Белинский. Вышедший невредимым из всех передраг, он не может перенести одного: всеобщего безразличия к письменной (да, пожалуй, и устной) речи, когда интеллигент в собственной стране становится «иностранцем с книгою в руках».

Но сделавшись живым чувствилищем литературы (неважно, хорошим или дурным), Белинский создал прецедент. Независимо от того, прав или виноват он в вековом историческом споре, независимо от любых оценок его идей, проще говоря, — независимо ни от чего, остается он сам: такой, какой есть. Его отношение к «высокому и прекрасному» как к единственному делу, за которое стоит положить жизнь, и как к смыслу ее самой не может быть опрокинуто доводами рассудка.

Белинский может оставаться предметом любви или нелюбви, но отнюдь не объектом научных изысканий.

И тут мы снова вступаем в область *интимных* чувств. Вспомним еще раз: к нему относились «с восторженной любовью, подобной той, какую питают к женщине». Приятели опекают его, как даму, они защищают его честь, они ревнуют его к «чужим» (славянофилам, к примеру) и т. д. Тот же подтекст будет присутствовать и в посмертной жизни героя. Любовь, как известно, слепа, и попытки открыть глаза влюбленным приводят лишь к негодованию и отпору с их стороны. Вот вся история «бытования» Белинского в нашей национальной культуре.

Белинский, лишенный страсти (в том числе и нашей, ответной), — это уже не Белинский.

Поллюбят ли его вновь? «Как дай вам Бог...» — сказал Пушкин.

